

COGITATIONIS POENAM NEMO
PATITUR

СУДЕБНЫЕ РЕЧИ

КОНИ А.Ф.

КАРАБЧЕВСКИЙ Н.П.

СПАСОВИЧ В.Д.

ХАРТУЛАРИ К.Ф.

АНДРЕЕВСКИЙ С.А.

АЛЕКСАНДРОВ П.А.

ЖУКОВСКИЙ В.И.

ПЛЕВАКО Ф.Н.

ВЕЛИКИХ РУССКИХ ЮРИСТОВ

IN DUBIO PRO REO

Юридическая мысль

Сборник статей
**Судебные речи великих
русских юристов**

«ЭКСМО»

2023

УДК 34(47)(091)
ББК 67.5

Сборник статей

Судебные речи великих русских юристов / Сборник статей —
«Эксмо», 2023 — (Юридическая мысль)

ISBN 978-5-04-175344-3

Издание содержит судебные речи знаменитых русских юристов: А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако и других, менее известных широкой публике. В книгу вошли избранные речи с пояснительным вступлением по сути судебного дела, а также краткими биографическими сведениями о каждом из выдающихся судебных ораторов. Открывает книгу статья легендарного А. Ф. Кони, посвященная технике подготовки любого публичного выступления. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 34(47)(091)
ББК 67.5

ISBN 978-5-04-175344-3

© Сборник статей, 2023
© Эксмо, 2023

Содержание

Предисловие	6
А. Ф. Кони	7
Советы лекторам	10
П. А. Александров	16
Дело Веры Засулич	18
Дело Нотовича	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Судебные речи великих русских юристов

© ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Предисловие

Ораторское мастерство с античных времен ценилось в обществе не менее других искусств. Владение речью, позволяющее покорить аудиторию, считалось благородным талантом. Искусство судебной речи – особенное, ведь в суде вершатся судьбы и утверждается справедливость, и здесь ответственность оратора необыкновенно велика. Русские юристы – адвокаты, прокуроры и судьи – оставили потомкам великолепные образцы судебных речей, которые и теперь остаются интересными и нужными все новым и новым поколениям.

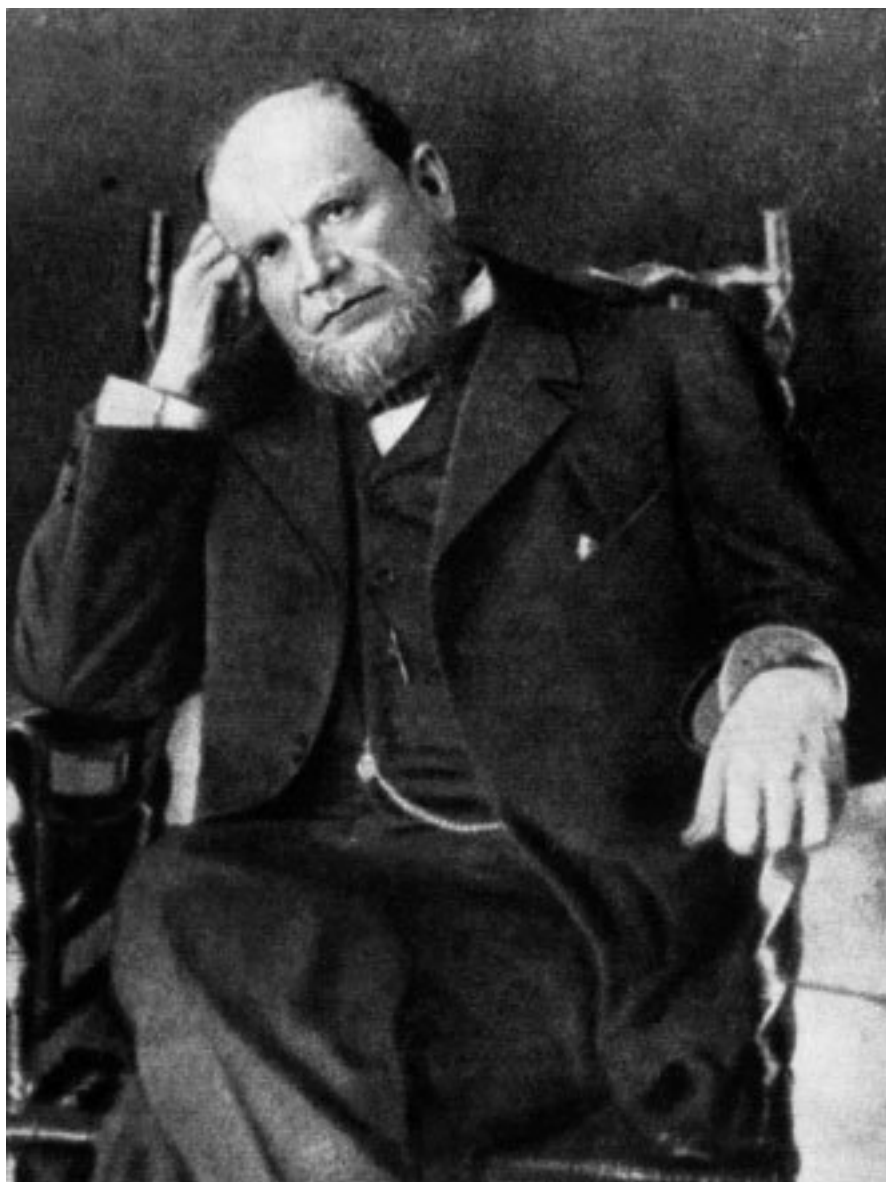
Адвокатура, родившаяся в результате судебной реформы 1864 года, буквально сразу оказалась представлена выдающимися юристами. Почему в России в последней четверти XIX века как-то вдруг проявилось столько талантов, оставивших потомкам такое богатое наследие? Это произошло благодаря судебной реформе, которая, наряду с освобождением крестьян и земской реформой, в короткий срок совершенно преобразила общественную жизнь страны.

Судебными уставами 1864 года утверждались новые, современные принципы судопроизводства. От инквизиционного, закрытого, сословного суда Россия переходила к состязательному, открытому, всесословному и независимому (благодаря несменяемости судей) судопроизводству. В состязательном процессе защита и обвинение стали в положение равноправных процессуальных оппонентов, которые должны были убедить судью (или присяжных) в своей правоте.

Так судебная реформа изменила и суд, и судебный процесс, создала саму адвокатскую профессию, благодаря чему прекрасно образованные российские юристы получили наконец необъятное поле для деятельности там, где еще недавно царила мертвящая казенная рутина.

В этом сборнике представлены некоторые из блестящих образцов судебного красноречия великой эпохи становления и пышного расцвета русской присяжной адвокатуры, вошедшие в сокровищницу отечественной юриспруденции.

А. Ф. Кони



Анатоль Федорович Кони (1844–1927 гг.) – это имя наверняка знает даже весьма далекий от юриспруденции человек. А. Ф. Кони вошел в историю как выдающийся юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор¹, судебный оратор. Его заслуги были по достоинству оценены: ему был присвоен чин действительного тайного советника, он являлся членом Государственного совета Российской империи (1907–1917 гг.), имел звание Почетного академика Санкт-Петербургской академии наук по разряду изящной словесности (1900 г.), ученую степень доктора уголовного права Харьковского университета (1890 г.), ученое звание профессора Петроградского университета (1918–1922 гг.).

Родившись в интеллигентной семье и получив хорошее домашнее начальное образование, он продолжил обучение, поступив в четвертый класс Второй Санкт-Петербургской гимназии, к этому моменту уже в совершенстве владея французским и немецким языками и

¹ А. Ф. Кони – автор произведений «На жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы», биографического очерка «Федор Петрович Гааз», многочисленных воспоминаний о коллегах и деятелях российской культуры.

занимаясь переводами литературных произведений. Гимназию А. Ф. Кони окончил с семью похвальными грамотами и в мае 1861 года сдал экзамены на математическое отделение Санкт-Петербургского университета. На экзамене по тригонометрии его ответы на сложные вопросы сверх программы так восхитили экзаменатора – академика О. И. Сомова, что он готов был немедленно на руках отнести чудо-абитуриента, чтобы представить его ректору.

Однако вскоре, в декабре того же года, столь блестяще начатое обучение неожиданно прервалось: университет был закрыт на неопределенное время из-за студенческих волнений и беспорядков. Чтобы продолжить образование, А. Ф. Кони переехал в Москву и поступил сразу на второй курс Московского университета, но не на математический, а на юридический факультет.

С блеском закончив университет и получив ученую степень кандидата прав, в 1865 году А. Ф. Кони начал юридическую карьеру, отказавшись от предложения остаться в университете, поскольку считал неправильным преподавать, не имея практического профессионального опыта.

Некоторое время прослужив на юридической должности в Главном штабе Военного министерства, он, чувствуя непреодолимое влечение к судебной работе, в апреле 1866 года перешел в Санкт-Петербургскую судебную палату на должность помощника секретаря по уголовному департаменту и в последующие годы сменил несколько должностей в разных городах. В Санкт-Петербург А. Ф. Кони возвратился через 6 лет, в 1871 году, и уже прокурором Санкт-Петербургского окружного суда.

В этой должности он работал более четырех лет, в течение которых руководил расследованием наиболее сложных уголовных дел и выступал обвинителем в суде. Именно в это время А. Ф. Кони приобрел широкую известность как судебный оратор, его обвинительные речи печатались в газетах.

Вскоре в его судьбе произошел резкий поворот: в июле 1875 года он был назначен вице-директором департамента министерства юстиции и вновь вернулся к судебной работе лишь в январе 1878 года – уже в должности председателя Санкт-Петербургского окружного суда.

И сразу – серьезнейшее испытание профессиональной чести. 24 января 1878 года В. И. Засулич пыталась убить выстрелами из пистолета петербургского градоначальника Трепова. Преступление вызвало широкий резонанс, причем в обществе преобладало сочувствие к террористке. По этой причине следствие по делу велось в быстром темпе, с исключением всякого политического мотива; уже к концу февраля дело было готово к передаче в суд. А. Ф. Кони получил распоряжение министра юстиции графа К. И. Палена назначить дело к рассмотрению на 31 марта. Министр юстиции и сам император Александр II требовали от А. Ф. Кони как только что назначенного председателя Санкт-Петербургского окружного суда гарантий, что В. И. Засулич будет признана виновной. Анатолий Федорович таких гарантий не дал. Тогда министр юстиции предложил ему намеренно допустить в ходе процесса какое-либо нарушение закона, чтобы была возможность отменить решение в кассационном порядке. На это А. Ф. Кони ответил:

«Я председательствую всего третий раз в жизни, ошибки возможны и, вероятно, будут, но делать их сознательно я не стану, считая это совершенно несогласным с достоинством судьи!»².

Как известно, в процессе под председательством А. Ф. Кони революционерка В. Засулич была оправдана присяжными, но для него самого с этого вердикта начались годы опалы. Потом, через много лет, будут еще и высокие чины, и звания, но, отказывая императору, судья не

² Высоцкий С. А. Кони. – М.: Молодая гвардия, 1988. – (Жизнь замечательных людей). С. 134.

мог этого знать, зато он точно знал, что неминуемо попадет в немилость, последствия которой неизвестны, и сделал свой выбор – выбор в пользу Правосудия.

Сборник открывает небольшая, полезная при подготовке любого публичного выступления работа А. Ф. Кони «Советы лекторам».

Советы лекторам

§ 1. Необходимо готовиться к лекции; собрать интересное и важное, относящееся к теме – прямо или косвенно, составить сжатый, по возможности, полный план и пройти по нему несколько раз. Еще лучше – написать речь и, тщательно отделив ее в стилистическом отношении, прочитать вслух.

Письменное изложение предстоящей речи очень полезно начинающим лекторам и не обладающим резко выраженной способностью к свободной и спокойной речи.

План должен быть подвижным, то есть таким, чтобы его можно было сокращать без нарушения целого.

§ 2. Следует одеться просто и прилично. В костюме не должно быть ничего вычурного и кричащего (резкий цвет, необыкновенный фасон); грязный, неряшливый костюм производит неприятное впечатление. Это – важно помнить, так как психическое действие на собравшихся начинается до речи, с момента появления лектора перед публикой.

§ 3. Перед каждым выступлением следует мысленно пробегать план речи, так сказать, всякий раз приводить в порядок имеющийся материал. Когда лектор сознает, что хорошо помнит все то, о чем предстоит сказать, то это придает ему бодрость, внушает уверенность и успокаивает.

§ 4. Лектору, в особенности начинающему, очень мешает боязнь слушателей, страх от сознания, что речь окажется неудачной, то тягостное состояние души, которое хорошо знакомо каждому выступающему публично: адвокату, певцу, музыканту и т. д. Все это, с практикой, исчезает в значительной мере, хотя некоторое волнение, конечно, бывает всегда.

Чтобы меньше волноваться перед выступлениями, надо быть более уверенным в себе, а это может быть только при лучшей подготовке к лекции. Чем лучше владеешь предметом, тем меньше волнуешься. Размер волнения обратно пропорционален затраченному на подготовку труду или, вернее, результату подготовки. Невидимый ни для кого предварительный труд – основа уверенности лектора. Эта уверенность тотчас же повысится во время самой речи, как только лектор почувствует (а почувствует он непременно и вскоре же), что говорит свободно, толково, производит впечатление и знает все, что еще осталось сказать.

Когда спросили Ньютона, как он открыл закон тяготения, великий математик ответил: «Я об этом много думал». Другой великий человек – Альва Томазо Эдисон сказал, что в его изобретениях было 98 процентов «потения» и 2 процента «вдохновения».

Многим известно, во что обходился «перл создания» нашему Гоголю: до восьми переделок начальных редакций! Итак, страх лектора уменьшается подготовкой и практикой, то есть тем же трудом.

В уменьшении страха перед слушателями играют большую роль и те счастливые минуты успеха, которые, нет-нет, да и выпадают на долю не совсем плохого или только порядочного лектора.

§ 5. Начинать речь с обращения: «Товарищи». Можно построить начальную фразу и так, чтобы эти слова были в середине: «Сегодня, товарищи, вам предстоит...».

§ 6. Говорить следует громко, ясно, отчетливо (дикция), немонотонно, по возможности выразительно и просто. В тоне должна быть уверенность, убежденность, сила. Не должно быть учительского тона, противного и ненужного взрослым, скучного – молодежи.

§ 7. Тон речи может повышаться (то, что в музыке *crescendo*), но следует вообще менять тон – повышать и понижать его в связи со смыслом и значением данной фразы и даже отдельные слова (логическое ударение). Тон подчеркивает. Иногда хорошо «упасть» в тоне: с высокого, вдруг перейти на низкий, сделав паузу. Это «иногда» определяется местом в речи. Говоришь о Толстом, – и первая фраза об его «уходе» может быть сказана низким тоном; этим сразу подчеркивается величие момента в жизни нашего великого писателя.

Точных указаний делать по этому вопросу нельзя: может подсказать чутье лектора, вдумчивость. Следует помнить о значении пауз между отдельными частями устной речи (то же, что абзац или красная строка в письменной). Речь не должна произноситься одним махом; она должна быть речью, живым словом.

§ 8. Жесты оживляют речь, но ими следует пользоваться осторожно. Выразительный жест (поднятая рука, сжатый кулак, резкое и быстрое движение и т. п.) должны соответствовать смыслу и значению данной фразы или отдельного слова (здесь жест действует заодно с тоном, удваивая силу речи). Слишком частые, однообразные, суетливые, резкие движения рук неприятны, приедаются, надоедают и раздражают.

§ 9. Не расхаживать по сцене, не делать однообразных движений, например покачиваний с ноги на ногу, приседать и т. п.

§ 10. Полезно всматриваться в отдельные группы слушателей (особенно в маленьких аудиториях, комнатах): слушатели смотрят на лектора, и им приятно, если лектор посмотрит на них. Этим привлекается внимание и завоевывается расположение к лектору. У лектора не должно быть одной какой-то точки, к которой привлекается во все время речи его взор.

§ 11. Лектор должен быть в достаточной мере освещен: лицо говорит вместе с языком.

§ 12. От лектора требуется большая выдержка и умение владеть собою при всех неблагоприятных обстоятельствах. Никакие отвлекающие причины не должны на него действовать (бинокли, газеты, поворачивания, шорох, плач ребенка, лай случайно забравшейся собаки). Лектор должен делать свое дело. Указанные мелочи (их можно насчитать с десятков), между которыми есть и действующие на самолюбие, с практикой, психически не будут оказывать влияния, к ним лектор привыкает.

§ 13. В случае резкого шума – призвать к тишине и продолжать речь. Если перед началом речи можно предположить, что будет шумно, если видно, что публика нервна, самую речь начать с призыва к тишине, а в этот призыв полезно включить одну-две фразы завлекающего характера.

§ 14. Избегать шаблона речи, он особенно опасен в начале и в конце. Публика подмечает все, и шаблон может быть поводом к какой-нибудь неожиданной выходке, например, шаблонно начатую лектором фразу закончит кто-нибудь в рядах и опередит лектора. Шаблон – совершенно недопустимое зло во всяком творчестве.

§ 15. Не применять в речи одних и тех же выражений, даже одних и тех же слов на близком расстоянии. Флобер и Мопассан советовали не ставить в тексте одинаковых слов ближе, чем на 200 строк.

§ 16. Форма речи – простая, понятная. Иностраный элемент допустим, но его следует тотчас же объяснить, а объяснение должно быть кратким, начеканенным; оно не должно задерживать надолго движение речи. Лучше не допускать трудно понимаемых ироний, аллегорий и т. п.; все это не усваивается неразвитыми умами, пропадает зря, хорошо действует простое наглядное сравнение, параллель, выразительный эпитет.

§ 17. Лирика допустима, но ее должно быть мало (тем она ценнее). Лирика должна быть искренней, как и вся речь вообще. Все же или почти все должно быть в форме и содержании речи, – вот почему предварительная подготовка и выработка плана так важны и необходимы.

§ 18. Элемент трогательного, жалостливого может быть в речи, но чтобы «трогательное» действительно «трогало» сердце, надо о трогательном говорить спокойно, холодно, бесстрастно: ни голос не должен дрожать, ни слеза слышаться, не должно быть никакого внешнего притока трогательности, от этого получается контрастный фон: черные линии сливаются с черным фоном, а на белом выступают резко. Так и с трогательным.

Например, читать сцены казни Остапа надо протокольно, сухо, холодно, стальным крепким голосом и изменить его там, где нельзя уже не изменить: описание страданий казаков и Остапа и возглас его: «Батько! Слышишь ли ты все это?!».

§ 19. Чтобы лекция имела успех, надо:

1. завоевать внимание слушателей и
2. удержать внимание до конца речи.

Привлечь (завоевать) внимание слушателей – первый ответственный момент в речи лектора – самое трудное дело. Внимание всех вообще (ребенка, невежды, интеллигента и даже ученого) возбуждается простым интересным (интересующим) и близким к тому, что наверно переживал или испытал каждый. Значит, первые слова лектора должны быть чрезвычайно просты, доступны, понятны и интересны (должны отвлечь, зацепить внимание). Этих зацепляющих «крючков» – вступлений может быть очень много: что-нибудь из жизни, что-нибудь неожиданное, какой-нибудь парадокс, какая-нибудь странность, как будто не идущая ни к жесту, ни к делу (но на самом-то деле связанная со всею речью), неожиданный и неглупый вопрос и т. п. Большинство людей занято пустой болтовней или легкими мыслями. Своротить их внимание в свою сторону всегда можно.

Чтобы открыть (найти) такое начало, надо думать, взвесить всю речь и сообразить, какое из указанных выше начал и однородных с ними, здесь не помеченных, может подходить и быть в тесной связи хоть какой-нибудь стороной с речью. Эта работа целиком творческая.

Пример первый. Надо говорить о Калигуле, римском императоре. Если лектор начнет с того, что Калигула был сыном Германика и Агрипины, что родился в таком-то году, унаследовал такие-то черты характера, так-то и там-то жил и воспитывался, то... внимание вряд ли будет зацеплено. Почему? Потому что в этих сведениях нет ничего необычного и, пожалуй интересного для того, чтобы завоевать внимание. Давать этот материал все равно придется, но не сразу надо давать его, а только иногда, когда привлечено уже внимание присутствующих, когда оно из рассеянного станет сосредоточенным. Стоять можно на подготовленной почве, а не на первой попавшейся случайной. Это – закон.

Первые слова и имеют эту цель: привести собравшихся в состояние внимания. Первые слова должны быть совершенно простыми (полезно избегать в этом моменте сложных предложений, хороши простые предложения). Можно начать так: «В детстве я любил читать сказки. И из всех сказок на меня особенно сильно влияла одна (пауза): сказка о людоеде, пожирателе детей. Мне, маленькому, было крайне жалко тех ребят, которых великан-людоед резал, как

поросят, огромным ножом и бросал в большой дымящийся котел. Я боялся этого людоеда, и когда темнело в комнате, думал, как бы не попасться к нему на обед. Когда же я вырос и кое-что узнал, то...» далее следуют переходные слова (очень важные) к Калигуле и затем речь по существу. Скажут: причем тут людоед? А при том, что людоед – в сказке и Калигула – в жизни – братья по жестокости.

Разумеется, если лектор не выдвинет в речи о Калигуле его жестокости, то не нужен и людоед. Тогда надо будет взять другое для завоевания внимания. Оригинальность начала интригует, привлекает, располагает ко всему остальному; напротив того, обыкновенное начало принимается вяло, на него нехотя (значит неполно) реагируют, оно заранее определяет ценность всего последующего.

Пример второй. Надо говорить о Ломоносове. Во вступлении можно нарисовать (кратко – непременно кратко, но сильно!) картину бегства в Москву мальчика-ребенка, а потом: прошло много лет. В Петербурге, в одном из старинных домов времен Петра Великого, в кабинете, уставленном физическими приборами и заваленном книгами, чертежами и рукописями, стоял у стола человек в белом парике и придворном мундире и объяснял Екатерине II новые опыты по электричеству. Человек этот был тот самый мальчик, который когда-то бежал из родного дома темною ночью.

Здесь действует на внимание простое начало, как будто не относящееся к Ломоносову, и резкий контраст двух картин.

Внимание непременно будет завоевано, а дальше можно вести речь о Ломоносове по существу: поэт, физик, химик...

Пример третий. Надо говорить о законе всемирного тяготения. Принимая во внимание все предшествовавшее о вступлении, о первых словах лектора для завоевания внимания, и эту лекцию можно было бы начать так. «В Рождественскую ночь 1642 года, в Англии, в семье фермера средней руки была большая сумятица. Родился мальчик такой маленький, что его можно было выкупать в пивной кружке». Дальше несколько слов о жизни и учении этого мальчика, о студенческих годах, об избрании в члены королевского общества и, наконец, имя самого Ньютона. После этого можно приступить к изложению сущности закона всемирного тяготения. Роль этой «пивной кружки» – только в привлечении внимания. А откуда о ней узнать? Надо читать, готовиться, взять биографию Ньютона...

Как привлечь внимание и через это подействовать на волю, превосходно пояснено в рассказе А. П. Чехова «Дома» (прием тот же, что и здесь).

Начало должно быть в соответствии с аудиторией, знание ее необходимо. Например, начало лекции о Ломоносове не подошло бы к аудитории интеллигентной, так как с первых же слов все догадались бы, что речь идет именно о Ломоносове, и оригинальность начала превратилась бы в жалкую искусственность.

Вторая задача лектора – удержать внимание аудитории. Раз внимание возбуждено вступлением, надо хранить его, иначе перестанут слушать, начнется движение и, наконец, появится та «смесь» тягостных признаков равнодушия к словам лектора, которая убивает всякое желание продолжать речь. Удержать и даже увеличить внимание можно:

- 1) краткостью,
- 2) быстрым движением речи,
- 3) краткими освежающими отступлениями.

Краткость речи состоит не только в краткости времени, в течение которого она произносится. Лекция может идти целый час и все-таки быть краткой; она же при 10 минутах может казаться длинной, утомительной.

Краткость – отсутствие всего лишнего, не относящегося к содержанию, всего того водянистого и засоряющего, чем обычно грешат речи. Надо избегать лишнего: оно расхолаживает и ведет к потере внимания слушателей. Чтобы из мрамора сделать лицо, надо удалить из него все то, что не есть лицо (мнение А. П. Чехова). Так и лектор ни под каким видом не должен допускать в своей речи ничего из того, что разжижает речь, что делает ее «предлинновенной», что нарушает второе требование: быстрое движение речи вперед.

Речь должна быть экономной, упругой. Нельзя рассуждать так: ничего, я оставляю это слово, это предложение, этот образ, хотя они и не особенно-то важны. Все неважное – выбрасывать, тогда и получится краткость, о которой тот же Чехов сказал: «Краткость – сестра таланта». Нужно делать так, чтобы слов было относительно немного, а мыслей, чувств, эмоций – много. Тогда речь краткая, тогда она уподобляется вкусному вину, которого достаточно рюмки, чтобы почувствовать себя приятно опьяненным, тогда она исполнит завет Майкова: словам тесно, а мыслям просторно.

Быстрое движение речи обязывает лектора не задерживать внимания в подходах к новым частям (новым вопросам – моментам) речи. Например, часто приходится слышать: «Что же касается до юмора Чехова, юмора крайне своеобразного, то о нем можно сказать следующее...».

Вместо этих нестоящих слов надо сказать: «Юмор Чехова отличается удивительной мягкостью и гуманностью».

Потом – закрепление примерами.

Краткие освежающие отступления нужны в большой (скажем, часовой) речи, когда есть полное основание предполагать, что внимание слушателей могло утомиться. Утомленное внимание – невнимание. Отступления должны быть легкими, даже комического характера, и в то же время стоять в связи с содержанием данного места речи. В маленькой речи можно обойтись и без отступлений: внимание может сохраниться хорошими качествами самой речи.

Конец речи должен закруглить ее, то есть связать с началом. Например, в конце речи о Ломоносове (см. выше) можно сказать: «Итак, мы видели Ломоносова мальчиком-рыбаком и академиком. Где причина такой чудесной судьбы? Причина только в жажде знаний, в богатырском труде и умноженном таланте, отпущенном ему природой. Все это вознесло бедного сына рыбака и прославило его имя».

Разумеется, такой конец не для всех речей обязателен. Конец – разрешение всей речи (как в музыке последний аккорд – разрешение предыдущего; кто имеет музыкальное чутье – тот всегда может сказать, не зная пьесы, судя только по аккорду, что пьеса кончилась); конец должен быть таким, чтобы слушатели почувствовали (не только в тоне лектора, это обязательно), что дальше говорить нечего.

§ 20. Для успеха речи важно течение мысли лектора. Если мысль скачет с предмета на предмет, перебрасывается, если главное постоянно прерывается, то такую речь почти невозможно слушать. Надо построить план так, чтобы вторая мысль вытекала из первой, третья из второй и т. д., или чтобы был естественный переход от одного к другому.

Пример: черты характера Калигулы – жестокость, разврат, самомнение, расточительность. Если в рассказ о жестокости поместить черту расточительности (мысль перескочила!), а в рассказ о разврате – черту самомнения (мысль опять перескочила!), то получится отсутствие логического течения мысли. Это совершенно недопустимо. Средство против такого недостатка – обдуманый план и его точное исполнение. Естественное течение мысли доставляет, кроме умственного, глубокое эстетическое наслаждение. Об этом говорил и Пушкин.

Течение мысли подобно синему столбику термометра, а отступления черточкам, указывающим целое число градусов, но только не в такой равномерной последовательности.

§ 21. Лучшие речи просты, ясны, понятны и полны глубокого смысла. При недостатке собственной «глубокой мысли» дозвоительно пользоваться мудростью мудрых, соблюдая меру и в этом, чтобы не потерять своего лица между Лермонтовыми, Толстыми, Диккенсами...

П. А. Александров



Петр Акимович Александров (1838–1893 гг.), один из виднейших представителей русской дореволюционной адвокатуры, родился в Орловской губернии в семье мелкого священнослужителя. Несмотря на бедность семьи, П. А. Александрову удалось получить хорошее образование – в 1860 году он окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего в течение 15 лет занимал различные должности в Министерстве юстиции.

В 1876 году после служебного конфликта, вызванного неодобрением начальства его заключения в суде по одному из дел, где он выступил в защиту свободы печати, вышел в отставку и в этом же году поступил в адвокатуру.

Как защитник П. А. Александров впервые обратил на себя внимание выступлением в известном политическом процессе «193-х». Дело слушалось в 1877–1878 гг. в Петербургском окружном суде при закрытых дверях, а в качестве защитников в процессе принимали участие лучшие силы петербургской адвокатуры. Вскоре в том же суде П. А. Александров выступил с самой знаменитой в русской истории речью в политическом процессе – речью в защиту Веры Засулич по обвинению в покушении на убийство Петербургского градоначальника Трепова.

Эта речь принесла ему широкую известность не только в России, но и за рубежом, а подсудимая была оправдана коллегией присяжных.

Не менее ярко талант П. А. Александрова как адвоката и оратора проявился по делу Сарры Модебадзе. Осуществляя защиту четырех совершенно невиновных людей, понимая тот большой общественный резонанс, какой имел этот процесс, и свою роль в этом деле, он придал своей защитительной речи большое общественное звучание. Эта речь демонстрирует тщательную работу адвоката по делу, глубокое изучение всех его материалов, тонкое знание специальных вопросов, разбираемых на суде. Все это помогло П. А. Александрову успешно опровергнуть выводы экспертизы, на которых основывалось обвинение.

Представленная в этом сборнике речь П. А. Александрова по делу Нотовича – это яркое и смелое выступление адвоката в защиту свободы слова и печати.

«Чтобы понять и оценить речь Александрова, недостаточно было хватать на лету блески громких фраз, нужно было ее слушать сосредоточенно, со вниманием и дослушать до конца... Чем дальше подвигалась вперед аргументация, чем глубже шел анализ изложенных в строго систематическом порядке мельчайших подробностей дела, тем более завладевал оратор вниманием аудитории. И когда закончилась речь, публика выражала сожаление о том, что так скоро закончилась она...»³. О сарказме Александрова говорили, что он как разрывная пуля убивает наповал.

Наиболее характерные черты судебного ораторского мастерства П. А. Александрова – твердая логика и последовательность суждений, умение тщательно взвешивать и определять место любого доказательства по делу, а также убедительно аргументировать и обосновывать свои важнейшие доводы. Он всегда стремился к упрощению речи, прилагал много усилий к тому, чтобы сделать ее доступной и понятной. Этим объясняется то, что его речи, как правило, отличаются грамматической правильностью, легкостью стиля, чистотой и ясностью языка. Главное же в его защитительных речах – сила убеждения, которая в сочетании с ораторским талантом обеспечивала ему успех во многих сложных уголовных делах.

³ Г. Джаншиев. Эпоха великих реформ. – СПб., 1907. С. 735.

Дело Веры Засулич

В. И. Засулич обвинялась в покушении на убийство Петербургского градоначальника генерала Трепова: 24 января 1878 г. она стреляла в него из пистолета. Обвинительной властью преступление Засулич квалифицировалось как умышленное, с заранее обдуманном намерением. Дело рассматривалось Петербургским окружным судом с участием присяжных заседателей 31 марта 1878 г.

Защитник П. А. Александров в своей речи раскрыл истинный мотив этого преступления – возмущение обвиняемой незаконными действиями генерала Трепова, отдавшего распоряжение высечь розгами содержавшегося в доме предварительного заключения политического подследственного Боголюбова. Поступок генерала Трепова широко обсуждался в печати, в различных общественных кругах он оценивался многими как жестокий акт насилия, произвола и надругательства над человеческой личностью, несовместимый с принципами гуманности. Выстрел В. Засулич прозвучал как выражение протеста против действий генерала Трепова со стороны прогрессивной общественности.

* * *

Господа присяжные заседатели! Я выслушал благородную, сдержанную речь товарища прокурора, и со многим из того, что сказано им, я совершенно согласен; мы расходимся лишь в весьма немногом, но, тем не менее, задача моя после речи господина прокурора не оказалась облегченной. Не в фактах настоящего дела, не в сложности их лежит его трудность; дело это просто по своим обстоятельствам, до того просто, что если ограничиться одним только событием 24 января, тогда почти и рассуждать не придется. Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы?

Все это истины, против которых нельзя спорить, но дело в том, что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от другого случая: оно так связывается, так переплетается с фактом совершившегося в доме предварительного заключения 13 июля, что если непонятным будет смысл покушения, произведенного В. Засулич на жизнь генерал-адъютанта Трепова, то его можно уяснить, только сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых положено было происшествием в доме предварительного заключения. В самом сопоставлении, собственно говоря, не было бы ничего трудного; очень нередко разбирается не только такое преступление, но и тот факт, который дал мотив этому преступлению. Но в настоящем деле эта связь до некоторой степени усложняется, и разъяснение ее затрудняется. В самом деле, нет сомнения, что распоряжение генерал-адъютанта Трепова было должностное распоряжение. Но должностное лицо мы теперь не судим, и генерал-адъютант Трепов является здесь в настоящее время не в качестве подсудимого должностного лица, а в качестве свидетеля, лица, потерпевшего от преступления; кроме того, чувство приличия, которое мы не решились бы преступить в защите нашей и которое не может не внушить нам известной сдержанности относительно генерал-адъютанта Трепова как лица, потерпевшего от преступления, я очень хорошо понимаю, что не могу касаться

действий должностного лица и обсуждать их так, как они обсуждаются, когда это должностное лицо предстоит в качестве подсудимого. Но из того затруднительного положения, в котором находится защита в этом деле, можно, мне кажется, выйти следующим образом.

Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в храме, на горе; одна сторона этого Януса обращена к закону, к начальству, к суду; она ими освещается и обсуждается; обсуждение здесь полное, веское, правдивое; другая сторона обращена к нам, простым смертным, стоящим в притворе храма, под горой. На эту сторону мы смотрим, Ъ она бывает не всегда одинаково освещена для нас. Мы к ней подходим иногда только с простым фонарем, с грошевой свечкой, с тусклой лампой, многое для нас темно, многое наводит нас на такие суждения, которые не согласуются со взглядами начальства, суда на те же действия должностного лица. Но мы живем в этих, может быть, иногда и ошибочных понятиях, на основании их мы питаем те или другие чувства к должностному лицу, порицаем его или славословим его, любим или остаемся к нему равнодушным, радуемся, если находим распоряжения мотивом для наших действий, за которые мы судимся и должны ответствовать, тогда важно иметь в виду не только то, правильны или не правильны действия должностного лица с точки зрения закона, а как мы сам» смотрели на них. Не суждения закона о должностном действии, а наши воззрения на него должны быть приняты как обстоятельства, обуславливающие, степень нашей ответственности. Пусть эти воззрения будут и неправильны, они ведь имеют значение не для суда над должностным лицом, а для суда над нашими поступками, соображенными с теми или другими руководившими нами понятиями.

Чтобы вполне судить о мотиве наших поступков, надо знать, как эти мотивы отразились в наших понятиях. Таким образом, в моем суждении о событии 13 июля не будет обсуждения действий должностного лица, а только разъяснение того, как отразилось это событие на уме и убеждениях Веры Засулич. Оставаясь в этих пределах, я, полагаю, не буду судьей действий должностного лица и затем надеюсь, что в этих пределах мне будет дана необходимая законная свобода слова и вместе с тем будет оказано снисхождение, если я с некоторой подробностью остановлюсь на таких обстоятельствах, которые с первого взгляда могут и не казаться прямо относящимися к делу. Являясь защитником В. Засулич, по ее собственному избранию, выслушав от нее, в моих беседах с нею, многое, что она находила нужным передать мне, я невольно впадаю в опасение не быть полным выразителем ее мнения и упустить что-либо, что, по взгляду самой подсудимой, может иметь значение для ее дела.

Я мог бы теперь начать прямо со случая 13 июля, но нужно прежде исследовать почву, которая обусловила связь, между 13 июля и 24 января. Эта связь лежит во всем прошедшем, во всей жизни В. Засулич. Рассмотреть эту жизнь весьма поучительно; поучительно рассмотреть ее не только для интересов настоящего дела, не только для того, чтобы определить, в какой степени виновна В. Засулич, но ее прошедшее поучительно и для извлечения из него других материалов, нужных и полезных для разрешения таких вопросов, которые выходят из пределов суда: для изучения той почвы, которая у нас нередко производит преступление и преступников. Вам сообщены уже

о В. Засулич некоторые» биографические данные; они не длинны, и мне придется остановиться только на некоторых из них.

Вы помните, что с семнадцати лет, по окончании образования в одном из московских пансионов, после того как она выдержала с отличием экзамен на звание домашней учительницы, Засулич вернулась в дом своей матери. Старуха-мать ее живет в Петербурге. В небольшой сравнительно промежуток времени семнадцатилетняя девушка имела случай познакомиться с Нечаевым и его сестрой. Познакомилась она с ней совершенно случайно, в учительской школе, куда она ходила изучать звуковой метод преподавания грамоты. Кто такой был Нечаев, какие его замыслы, она не знала, да тогда еще и никто не знал его в России; он считался простым студентом, который играл некоторую роль в студенческих волнениях, не представлявших ничего политического.

По просьбе Нечаева В. Засулич согласилась оказать ему некоторую, весьма обыкновенную услугу. Она раза три или четыре принимала от него письма и передавала их по адресу, ничего, конечно, не зная о содержании самих писем. Впоследствии оказалось, что Нечаев – государственный преступник, и ее совершенно случайные отношения к Нечаеву послужили основанием к привлечению ее в качестве подозреваемой в государственном преступлении по известному нечаевскому делу. Вы помните из рассказа В. Засулич, что двух лет тюремного заключения стоило ей это подозрение. Год она просидела в Литовском замке и год в Петропавловской крепости. Это были восемнадцатый и девятнадцатый годы ее юности.

Годы юности – по справедливости считаются лучшими годами в жизни человека; воспоминания о них, впечатления этих лет остаются на всю жизнь. Недавний ребенок готовится стать созревшим человеком. Жизнь представляется пока издали ясной, розовой, обольстительной стороной без мрачных теней, без темных пятен. Много переживает юноша в эти короткие годы, и пережитое кладет след на всю жизнь. Для мужчины это пора высшего образования; здесь пробуждаются первые прочные симпатии; здесь завязываются товарищеские связи; отсюда выносятся навсегда любовь к месту своего образования, к своей alma mater. Для девицы годы юности представляют пору расцвета, полного развития; перестав быть дитятей, свободная еще от обязанностей жены и матери, девица живет полною радостью, полным сердцем. То – пора первой любви, беззаботности, веселых надежд, незабываемых радостей, пора дружбы; то – пора всего того дорогого, неуловимо-мимолетного, к чему потом любят обращаться воспоминаниями зрелая мать и старая бабушка.

Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие годы своей жизни, в каких забавах, в каких радостях провела она это дорогое время, какие розовые мечты волновали ее в стенах Литовского замка и казематах Петропавловской крепости. Полное отчуждение от всего, что за тюремной стеной. Два года она не видела ни матери, ни родных, ни знакомых. Изредка только через тюремное начальство доходила весть от них, что все, мол, слава богу, здоровы. Ни работы, ни занятий. Кое-когда только книга, прошедшая через тюремную цензуру. Возможность сделать несколько шагов по комнате и полная невозможность увидеть что-либо через тюремное окно. Отсутствие воздуха, редкие прогулки, дурной сон, плохое питание. Человеческий образ видится только в тюремном стороже, приносящем обед, да в часовом, заглядывающем, время от времени, в дверное окно, чтобы узнать, что делает арестант. Звук

отворяемых и затворяемых замков, бряцание ружей сменяющихся часовых, мерные шаги караула да уныломузыкальный звон часов Петропавловского шпица. Вместо дружбы, любви, человеческого общения – одно сознание, что справа и слева, за стеной, такие же товарищи по несчастью, такие же жертвы несчастной доли.

В эти годы зарождающихся симпатий Засулич действительно создала и закрепила в душе своей навеки одну симпатию – беззаветную любовь ко всякому, кто, подобно ей, принужден влачить несчастную жизнь подозреваемого в политическом преступлении. Политический арестант, кто бы он ни был, стал ей дорогим другом, товарищем юности, товарищем по воспитанию. Тюрьма была для нее *alma mater*, которая закрепила эту дружбу, это товарищество.

Два года кончились. Засулич отпустили, не найдя даже никакого основания предать ее суду. Ей сказали: «Иди», – и даже не прибавили: «И более не согрешай», – потому что прегрешений не нашлось, и до того не находилось их, что в продолжение двух лет она всего только два раза была спрошена, и одно время серьезно думала, в продолжение многих месяцев, что она совершенно забыта: «Иди». Куда же идти? По счастью, у нее есть куда идти – у нее здесь, в Петербурге, старуха-мать, которая с радостью встретит дочь. Мать и дочь были обрадованы свиданием; казалось, два тяжких года исчезли из памяти. Засулич была еще молода, ей был всего двадцать первый год. Мать утешала ее, говорила: «Поправишься, Верочка, теперь все пройдет, все кончилось благополучно». Действительно, казалось, страдания излечатся, молодая жизнь одолеет, и не останется следов тяжелых лет заключения. Была весна, пошли мечты о летней дачной жизни, которая могла казаться земным раем после тюремной жизни; прошло десять дней полных розовых мечтаний. Вдруг поздний звонок. Не друг ли запоздалый? Оказывается – не друг, но и не враг, а местный надзиратель. Объясняет он Засулич, что приказано ее отправить в пересыльную тюрьму. «Как в тюрьму? Вероятно, это недоразумение, я не привлечена к нечаевскому делу, не предана суду, обо мне дело прекращено судебной палатой и Правительствующим Сенатом». «Не могу знать, – отвечает надзиратель, – пожалуйста, я от начальства имею предписание взять вас».

Мать принуждена отпустить дочь. Дала ей кое-что: легкое платье, бурнус, говорит: «Завтра мы тебя навестим, мы пойдем к прокурору, этот арест – очевидное недоразумение, дело объяснится и ты будешь освобождена».

Проходят пять дней, В. Засулич сидит в пересыльной тюрьме с полной уверенностью скорого освобождения.

Возможно ли, чтобы после того как дело было прекращено судебной властью, не нашедшей никакого основания в чем бы то ни было обвинять Засулич, она, едва двадцатилетняя девица, живущая у матери, могла быть выслана, и выслана только что освобожденная, после двухлетнего тюремного заключения?

В пересыльной тюрьме навещают ее мать, сестра; ей приносят конфеты, книжки; никто не воображает, чтобы она могла быть выслана, и никто не озабочен приготовлениями к предстоящей высылке.

На пятый день задержания ей говорят: «Пожалуйста, вас сейчас отправляют в город Крестцы». «Как отправляют? Да у меня нет ничего для дороги. Подождите, по крайней мере, дайте мне возможность дать

знать родственникам, предупредить их. Я уверена, что тут какое-нибудь недоразумение. Окажите мне снисхождение, подождите, отложите мою отправку хоть на день, на два, я дам знать родным». «Нельзя, – говорят, – не можем по закону, требуют вас немедленно отправить».

Рассуждать было нечего. Засулич понимала, что надо покориться закону, не знала только, о каком законе тут речь. Поехала она в одном платье, в легком бурнусе; пока ехала по железной дороге, было сносно, потом поехала на почтовых, в кибитке, между двух жандармов. Был апрель месяц, стало в легком бурнусе невыносимо холодно: жандарм снял свою шинель и одел барышню. Привезли ее в Крестцы. В Крестцах отдали ее исправнику, исправник выдал квитанцию в принятии клади и говорит Засулич: «Идите, я вас не держу, вы не арестованы. Идите и по субботам являйтесь в полицейское управление, так как вы состоите у нас под надзором».

Рассматривает Засулич свои ресурсы, с которыми ей приходится начать новую жизнь неизвестном городе. У нее оказывается рубль денег, французская книжка, да коробка шоколадных конфет.

Нашелся добрый человек, дьячок, который поместил ее в своем семействе. Найти занятие в Крестцах ей не представилось возможности тем более, что нельзя было скрыть, что она – высланная административным порядком. Я не буду затем повторять другие подробности, которые рассказала сама В. Засулич.

Из Крестцов ей пришлось ехать в Тверь, в Солигалич, в Харьков. Таким образом началась ее бродячая жизнь, – жизнь женщины, находящейся под надзором полиции. У нее делали обыски, призывали для разных опросов, подвергали иногда задержкам не в виде арестов и, наконец, о ней совсем забыли.

Когда от нее перестали требовать, чтобы она еженедельно являлась на просмотр к местным полицейским властям, тогда ей улыбнулась возможность контрабандой поехать в Петербург и затем с детьми своей сестры отправиться в Пензенскую губернию. Здесь она летом 1877 года прочитывает в первый раз в газете «Голос» известие о наказании Боголюбова.

Да позволено мне будет, прежде чем перейти к этому известию, сделать еще маленькую экскурсию в область розги.

Я не имею намерения, господа присяжные заседатели, представлять вашему вниманию историю розги, это завело бы меня в область слишком отдаленную, к весьма далеким страницам нашей истории, ибо история русской розги весьма продолжительна. Нет, не историю розги хочу я повествовать перед вами, я хочу привести лишь несколько воспоминаний о последних днях ее жизни.

Вера Ивановна Засулич принадлежит к молодому поколению. Она стала себя помнить тогда уже, когда наступили новые порядки, когда розги отошли в область преданий. Но мы, люди предшествовавшего поколения, мы еще помним то полное господство розг, которое существовало до 17 апреля 1863 г. Розга царила везде: в школе, на мирском сходе, она была неременной принадлежностью на конюшне помещика, потом в казармах, в полицейском управлении... Существовало сказание – апокрифического, впрочем, свойства, что где-то русская розга была приведена в союз с английским механизмом, и русское сечение совершалось по всем правилам самой утонченной европейской вежливости. Впрочем, достоверность этого сказания никто не

подтверждал собственным опытом. В книгах наших уголовных, гражданских и военных законов розга испещряла все страницы. Она составляла какой-то легкий мелодический перезвон в общем громогласном гуле плети, кнута и шпицрутен. Но наступил великий день, который чтит вся Россия, – 17 апреля 1863 г., – и розга перешла в область истории. Розга, правда, не совсем, но все другие телесные наказания миновали совершенно. Розга не была совершенно уничтожена, но крайне ограничена. В то время было много опасений за полное уничтожение розги, опасений, которых не разделяло правительство, но которые волновали некоторых представителей интеллигенции. Им казалось вдруг как-то неудобным и опасным оставить без розг Россию, которая так долго вела свою историю рядом с розгой, Россию, которая, по их глубокому убеждению, сложилась в обширную державу и достигла своего величия едва ли не благодаря розгам. Как, казалось, вдруг остаться без этого цемента, связующего общественные устои? Как будто в утешение этих мыслителей розга осталась в очень ограниченных размерах и утратила свою публичность.

По каким соображениям решились сохранить ее, я не знаю, но думаю, что она осталась как бы в виде сувенира после умершего или удалившегося навсегда лица. Такие сувениры обыкновенно приобретаются и сохраняются в малых размерах. Тут не нужно целого шиньона, достаточно одного локона; сувенир обыкновенно не выставляется наружу, а хранится в тайнике медальона, в дальнем ящике. Такие сувениры не переживают более одного поколения.

Когда в исторической жизни народа нарождается какое-либо преобразование, которое способно поднять дух народа, возвысить его человеческое достоинство, тогда подобное преобразование прививается и приносит свои плоды. Таким образом, и отмена телесного наказания оказала громадное влияние на поднятие в русском народе чувства человеческого достоинства. Теперь стал позорен тот солдат, который довел себя до наказания розгами; теперь смешон и считается бесчестным тот крестьянин, который допустит себя наказывать розгами.

Вот в эту-то пору, через пятнадцать лет после отмены розг, которые, впрочем, давно уже были отменены для лиц привилегированного сословия, над политическим осужденным арестантом было совершено позорное сечение. Обстоятельство это не могло укрыться от внимания общества: о нем заговорили в Петербурге, о нем вскоре появляются газетные известия. И вот эти-то газетные известия дали первый толчок мыслям В. Засулич. Короткое газетное известие о наказании Боголюбова розгами не могло не произвести на Засулич подавляющего впечатления. Оно производило такое впечатление на всякого, кому знакомо чувство чести и человеческого достоинства.

Человек, по своему рождению, воспитанию и образованию чуждый розги; человек, глубоко чувствующий и понимающий все ее позорное и унижительное значение; человек, который по своему образу мыслей, по своим убеждениям и чувствам не мог без сердечного содрогания видеть и слышать исполнение позорной экзекуции над другими, этот человек сам должен был перенести на собственной коже всеподавляющее действие унижительного наказания.

Какое, думала Засулич, мучительное истязание, какое презрительное поругание над всем, что составляет самое существенное достояние развитого

человека, и не только развитого, но и всякого, кому не чуждо чувство чести и человеческого достоинства.

Не с точки зрения формальностей закона могла обсуждать В. Засулич наказание, произведенное над Боголюбовым, но и для нее не могло быть ясным из самых газетных известий, что Боголюбов, хотя и был осужден в каторжные работы, но еще не поступил в разряд ссыльнокаторжных, что над ним не было еще исполнено все то, что, по фикции закона, отнимает от человека честь, разрывает всякую связь его с прошедшим и низводит его на положение лишенного всех прав. Боголюбов содержался еще в доме предварительного заключения, он жил среди прежней обстановки, среди людей, которые напоминали ему его прежнее положение.

Нет, не с формальной точки зрения обсуждала В. Засулич наказание Боголюбова; была другая точка зрения, менее специальная, более сердечная, более человеческая, которая никак не позволяла примириться с разумностью и справедливостью произведенного над Боголюбовым наказания.

Боголюбов был осужден за государственное преступление. Он принадлежал к группе молодых, очень молодых людей, судившихся за преступную манифестацию на площади Казанского собора. Весь Петербург знает об этой манифестации, и все с сожалением отнеслись тогда к этим молодым людям, так опрометчиво заявившим себя политическими преступниками, к этим так непроизводительно погубленным молодым силам. Суд строго отнесся к судимому деянию. Покушение явилось в глазах суда весьма опасным посягательством на государственный порядок, и закон был применен с подобающей строгостью. Но строгость приговора за преступление не исключала возможности видеть, что покушение молодых людей было прискорбным заблуждением и не имело в своем основании таких расчетов, своекорыстных побуждений, преступных намерений, что, напротив, в основании его лежало доброе увлечение, с которым не совладал молодой разум, живой характер, и дало им направиться на ложный путь, приведший к прискорбным последствиям.

Характерные особенности нравственной стороны государственных преступлений не могут не обращать на себя внимания. Физиономия государственных преступлений нередко весьма изменчива. То, что вчера считалось государственным преступлением, сегодня или завтра становится высокочтимым подвигом гражданской доблести. Государственное преступление нередко – только разновременно высказанное учение преждевременного преобразования, проповедь того, что еще недостаточно созрело и для чего еще не наступило время.

Все это, несмотря на тяжкую кару закона, постигающую государственного преступника, не позволяет видеть в нем презренного, отвергнутого члена общества, не позволяет заглушить симпатий: ко всему тому высокому, честному, доброму, разумному, что остается в нем вне сферы его преступного деяния.

Мы, в настоящее славное царствование, тогда еще с восторгом юности, приветствовали старцев, возвращенных монаршим милосердием из снегов Сибири, этих государственных преступников, явившихся энергическими деятелями по различным отраслям великих преобразований, тех преобразований, несвоевременная мечта о которых стоила им годов каторги.

Боголюбов судебным приговором был лишен всех прав состояния и присужден к каторге. Лишение всех прав и каторга – одно из самых тяжелых наказаний нашего законодательства. Лишение всех прав и каторга одинаково могут постигнуть самые разнообразные тяжкие преступления, несмотря на все различие их нравственной подкладки. В этом еще нет ничего несправедливого. Наказание, насколько оно касается сферы права, изменения общественного положения, лишения свободы, принудительных работ, может без особенно вопиющей неравномерности постигать преступника самого разнообразного характера. Разбойник, поджигатель, распространитель ереси, наконец, государственный преступник могут быть без явной несправедливости уравнены постигающим их наказанием.

Но есть сфера, которая не поддается праву, куда бессилён проникнуть нивелирующий закон, где всякая законная уравнительность была бы величайшей несправедливостью. Я разумею сферу умственного и нравственного развития, сферу убеждений, чувствований, вкусов, сферу всего того, что составляет умственное и нравственное достоинство человека.

Высокоразвитый, полный честных нравственных принципов государственный преступник и безнравственный, презренный разбойник или вор могут одинаково, стена об стену, тянуть долгие годы заключения, могут одинаково нести тяжкий труд рудниковых работ, но никакой закон, никакое положение, созданное для них наказанием, не в состоянии уравнивать их во всем том, что составляет умственную и нравственную сферу человека. Что, потому, для одного составляет ничтожное лишение, легкое взыскание, то для другого может составить тяжелую нравственную пытку, невыносимое, бесчеловечное истязание.

Закон карающий может отнять внешнюю честь, все внешние отличия, с ней сопряженные, но истребить в человеке чувство моральной чести, нравственного достоинства судебным приговором, изменить нравственное содержание человека, лишить его всего того, что составляет неотъемлемое достоинство его развития, никакой закон не может. И если закон не может предусмотреть все нравственные, индивидуальные различия преступника, которые обуславливаются их прошедшим, то является на помощь общая, присущая человеку, нравственная справедливость, которая должна подсказать, что применимо к одному и что было бы высшею несправедливостью в применении к другому.

Если с этой точки зрения общей справедливости смотреть на наказание, примененное к Боголюбову, то понятным станет то возбуждающее, тяжелое чувство негодования, которое овладело всяким неспособным безучастно относиться к нравственному истязанию над ближним.

С чувством глубокого, непримиримого оскорбления за нравственное достоинство человека отнеслась Засулич к известию о позорном наказании Боголюбова.

Что был для нее Боголюбов? Он не был для нее родственником, другом, он не был ее знакомым, она никогда не видала и не знала его. Но разве для того, чтобы возмутиться видом нравственно раздавленного человека, чтобы прийти в негодование от позорного глумления над беззащитным, нужно быть сестрой, женой, любовницей? Для Засулич Боголюбов был политический арестант, и в этом слове было для нее все: политический арестант не был для Засулич отвлеченное представление, вычитываемое из книг, знакомое

по слухам, по судебным процессам, представление, возбуждающее в честной душе чувство сожаления, сострадания, сердечной симпатии. Политический арестант был для Засулич – она сама, ее горькое прошедшее, ее собственная история – история безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни каждого человека, которого не постигает тяжкая доля, перенесенная Засулич. Политический арестант был для Засулич – горькое воспоминание ее собственных страданий, ее тяжкого нервного возбуждения, постоянной тревоги, томительной неизвестности, вечной думы над вопросами: Что я сделала? Что будет со мной? Когда же наступит конец? Политический арестант был ее собственное сердце, и всякое грубое прикосновение к этому сердцу болезненно отзывалось на ее возбужденной натуре.

В провинциальной глуши газетное известие действовало на Засулич еще сильнее, чем оно могло бы действовать здесь, в столице. Там она была одна. Ей не с кем было разделить свои сомнения, ей не от кого было услышать слово участия по занимавшему ее вопросу. Нет, думала Засулич, вероятно, известие неверно, по меньшей мере оно преувеличено. Неужели теперь, и именно теперь, думала она, возможно такое явление? Неужели 20 лет прогресса, смягчение нравов, человеколюбивое отношение к арестованному, улучшение судебных и тюремных порядков, ограничение личного произвола, неужели 20 лет поднятия личности и достоинства человека вычеркнуты и забыты бесследно? Неужели к тяжкому приговору, постигшему Боголюбова, можно было прибавлять еще более тяжкое презрение к его человеческой личности, забвение в нем всего прошлого, всего, что дали ему воспитание и развитие? Неужели нужно было еще наложить несмыаемый позор на эту, положим, преступную, но во всяком случае не презренную личность? Нет ничего удивительного, продолжала думать Засулич, что Боголюбов в состоянии нервного возбуждения, столь понятного в одиночно-заключенном арестанте, мог, не владея собой, позволить себе то или другое нарушение тюремных правил, но на случай таких нарушений, если и признавать их вменяемыми человеку в исключительном состоянии его духа, существуют у тюремного начальства другие меры, ничего общего не имеющие с наказанием розгами. Да и какой же поступок приписывает Боголюбову газетное известие? Неснятие шапки при вторичной встрече с почетным посетителем. Нет, это невероятно, успокаивалась Засулич; подождем, будет опровержение, будет разъяснение происшествия; по всей вероятности, оно окажется не таким, как представлено.

Но не было ни разъяснений, ни опровержений, ни гласа, ни послушания. Тишина молчания не располагала к тишине взволнованных чувств. И снова возникал в женской экзальтированной голове образ Боголюбова, подвергнутого позорному наказанию, и распаленное воображение старалось угадать, перечувствовать все то, что мог перечувствовать несчастный. Рисовалась возмущающая душу картина, но то была еще только картина собственного воображения, не проверенная никакими данными, не пополненная слухами, рассказами очевидцев, свидетелей наказания; скоро явилось и то и другое.

В сентябре Засулич была в Петербурге; здесь уже она могла проверить занимавшее ее мысль происшествие по рассказам очевидцев или лиц, слышавших непосредственно, от очевидцев. Рассказы по содержанию своему не способны были усмирить возмущенное чувство. Газетное

известие оказывалось непреувеличенным; напротив, оно дополнялось такими подробностями, которые заставляли содрогаться, которые приводили в негодование. Рассказывалось и подтверждалось, что Боголюбов не имел намерения оказать неуважение, неповиновение, что естественное уклонение от внушения, которое ему угрожало, что попытка сбить с Боголюбова шапку вызвала крики со стороны смотревших на происшествие арестантов независимо от какого-либо возмущения их к тому Боголюбовым. Рассказывались дальше возмутительные подробности приготовления и исполнения наказания. Во двор, на который из окон камер неслись крики арестантов, взволнованных происшествием с Боголюбовым, является смотритель тюрьмы и, чтобы «успокоить» волнение, возвещает о предстоящем наказании Боголюбова розгами, не успокоив никого этим в действительности, но, несомненно, доказав, что он, смотритель, обладает и практическим тактом и пониманием человеческого сердца. Перед окнами женских арестантских камер, в виду испуганных чем-то необычайным происходящим в тюрьме женщин, вяжутся пуки розог, как будто бы драть предстояло целую роту; разминаются руки, делаются репетиции предстоящей экзекуции, и в конце концов нервное волнение арестантов возбуждается до такой степени, что ликторы считают нужным убраться в сарай и оттуда выносят пуки розог уже спрятанными под шинелями.

Теперь, по отрывочным рассказам, по догадкам, по намекам нетрудно было вообразить и настоящую картину экзекуции. Восставала эта бледная, испуганная фигура Боголюбова, не ведающая, что он сделал, что с ним хотят творить; восставал в мыслях болезненный его образ. Вот он, приведенный на место экзекуции и пораженный известием о том позоре, который ему готовится; вот он, полный негодования и думающий, что эта сила негодования даст ему силы Самсона, чтоб устоять в борьбе с массой ликторов, исполнителей наказания; вот он, падающий под массой пудов человеческих тел, насевших ему на плечи, распростертый на полу, позорно обнаженный несколькими парами рук, как железом, прикованный, лишенный всякой возможности сопротивляться, и над всей этой картиной мерный свист березовых прутьев, да также мерное счисление ударов благородным распорядителем экзекуции. Все замерло в тревожном ожидании стога; этот стон раздался, то не был стон физической боли, не на нее рассчитывали; то был мучительный стон удушенного, униженного, поруганного, раздавленного человека. Священнодействие совершилось, позорная жертва была принесена!..

Сведения, полученные Засулич, были подробны, обстоятельны, достоверны. Теперь тяжелые сомнения сменились еще более тяжелой известностью. Роковой вопрос встал со всей его беспокойною настойчивостью. Кто же вступится за поруганную честь беспомощного каторжника? Кто смает, кто и как искупит тот позор, которыми навсегда неутешимую болью будет напоминать о себе несчастному? С твердостью перенесет осужденный суровость каторги, но не примирится с этим возмездием за его преступление, быть может, сознает его справедливость, быть может, наступит минута, когда милосердие с высоты трона и для него откроется, когда скажут ему: «Ты искупил свою вину, войди опять в то общество, из которого ты удален, войди и будь снова гражданином». Но кто и как изгладит в его сердце воспоминание о позоре, о поруганном достоинстве; кто и как смает то пятно, которое на всю жизнь останется неизгладимым в его воспоминании? Наконец, где

же гарантия против повторения подобного случая? Много товарищей по несчастью у Боголюбова, – неужели и они должны существовать под страхом всегдашней возможности испытать то, что пришлось перенести Боголюбову? Если юристы могли создать лишение прав, то отчего психологи, моралисты не явятся со средствами отнять у лишенного прав его нравственную физиономию, его человеческую натуру, его душевное состояние; отчего же они не укажут средств низвести каторжника на степень скота, чувствующего физическую боль и чуждого душевным страданиям?

Так думала, так не столько думала, как инстинктивно чувствовала В. Засулич. Я говорю ее мыслями, я говорю почти ее словами. Быть может, найдется много экзальтированного, болезненно-преувеличенного в ее думах, волновавших ее вопросах, в ее недоумении. Быть может, законник нашелся бы в этих недоумениях, подведя приличную статью закона, прямо оправдывающую случай с Боголюбовым: у нас ли не найти статьи закона, коли нужно ее найти? Быть может, опытный блюститель порядка доказал бы, что иначе поступить, как было поступлено с Боголюбовым, и невозможно, что иначе и порядка существовать не может. Быть может, не блюститель порядка, а просто практический человек сказал бы, с полной уверенностью в разумности своего совета: «Бросьте вы, Вера Ивановна, это самое дело: не вас ведь выпороли».

Но и законник, и блюститель порядка, и практический человек не разрешил бы волновавшего Засулич сомнения, не успокоил бы ее душевной тревоги. Не надо забывать, что Засулич – натура экзальтированная, нервная, болезненная, впечатлительная; не надо забывать, что павшее на нее, чуть не ребенка в то время, подозрение в политическом преступлении, подозрение не оправдавшееся, но стоившее ей двухлетнего одиночного заключения, и затем бесприютное скитание надломили ее натуру, навсегда оставив воспоминание о страданиях политического арестанта, толкнули ее жизнь на тот путь и в ту среду, где много поводов к страданию, душевному волнению, но где мало места для успокоения на соображениях практической пошлости.

В беседах с друзьями и знакомыми, наедине днем и ночью среди занятий и без дела Засулич не могла оторваться от мысли о Боголюбове, и ни откуда сочувственной помощи, ни откуда удовлетворения души, взволнованной вопросами: кто вступится за опозоренного Боголюбова, кто вступится за судьбу других несчастных, находящихся в положении Боголюбова? Засулич ждала этого заступничества от печати, она ждала оттуда поднятия, возбуждения так волновавшего ее вопроса. Памятуя о пределах, молчала печать. Ждала Засулич помощи от силы общественного мнения. Из тиши кабинета, из интимного круга приятельских бесед не выползло общественное мнение. Она ждала, наконец, слова от правосудия. Правосудие... Но о нем ничего не было слышно.

И ожидания оставались ожиданиями. А мысли тяжелые и тревоги душевные не унимались. И снова, и снова, и опять, и опять возникал образ Боголюбова и вся его обстановка.

Не звуки цепей смущали душу, но мрачные своды мертвого дома леденили воображение; рубцы – позорные рубцы – резали сердце, и замогильный голос заживо погребенного, звучал:

Что ж молчит в вас, братья, злоба,

Что ж любовь молчит?

И вдруг внезапная мысль, как молния, сверкнувшая в уме Засулич: «О, я сама! Затихло, замолкло все о Боголюбове, нужен крик, в моей груди достанет воздуха издать этот крик, я издам его и заставлю его услышать!» Решимость была ответом на эту мысль в ту же минуту. Теперь можно было рассуждать о времени, о способах исполнения, но само дело, выполненное 24 января, было бесспорно решено.

Между блеснувшей и зародившейся мыслью и исполнением ее протекли дни и даже недели; это дало обвинению право признать вмененное Засулич намерение и действие заранее обдуманном.

Если эту обдуманность относить к приготовлению средств, к выбору способов и времени исполнения, то, конечно, взгляд обвинения нельзя не признать справедливым, но в существе своем, в своей основе, намерение Засулич не было и не могло быть намерением хладнокровно обдуманном, как ни велико по времени расстояние между решимостью и исполнением. Решимость была и осталась внезапной, вследствие внезапной мысли, павшей на благоприятную, для нее подготовленную, почву, овладевшей всецело и всевластно экзальтированной натурой. Намерения, подобные намерению Засулич, возникающие в душе возбужденной, аффектированной, не могут быть обдумываемы, обсуждаемы. Мысль сразу овладевает человеком, не его обсуждению она подчиняется, а подчиняет его себе и влечет за собою. Как бы далеко ни отстояло исполнение мысли, овладевшей душой, аффект не переходит в холодное размышление и остается аффектом. Мысль не проверяется, не обсуждается, ей служат, ей рабски повинуются, за ней следуют. Нет критического отношения, имеет место только безусловное поклонение. Тут обсуждаются и обдумываются только подробности исполнения, но это не касается сущности решения. Следует ли или не следует выполнить мысль, об этом не рассуждают, как бы долго ни думали над средствами и способами исполнения. Страстное состояние духа, в котором зарождается и воспринимается мысль, не допускает подобного обсуждения; так вдохновенная мысль поэта остается вдохновенною, не выдуманною, хотя она и может задумываться над выбором слов и рифм для ее воплощения.

Мысль о преступлении, которое стало бы ярким и громким указанием на расправу с Боголюбовым, всецело завладела возбужденным умом Засулич. Иначе и быть не могло: эта мысль как нельзя более соответствовала тем потребностям, отвечала на те задачи, которые волновали ее.

Руководящим побуждением для Засулич обвинение ставит месть. Местью и сама Засулич объяснила свой поступок, но для меня представляется невозможным объяснить вполне дело Засулич побуждением мести, по крайней мере мести, понимаемой в ограниченном смысле этого слова. Мне кажется, что слово «месть» употреблено в показании Засулич, а затем и в обвинительном акте, как термин наиболее простой, короткий и несколько подходящий к обозначению побуждения, импульса, руководившего Засулич.

Но месть, одна «месть» была бы неверным мерилom для обсуждения внутренней стороны поступка Засулич. Месть обыкновенно руководится личными счетами с отомщаемым за себя или близких. Но никаких личных, исключительно ее, интересов не только не было для Засулич в происшествии с Боголюбовым, но и сам Боголюбов не был ей близким, знакомым человеком.

Месть стремится нанести возможно больше зла противнику; Засулич, стрелявшая в генерал-адъютанта Трепова, сознается, что для нее безразличны

были те или другие последствия выстрела. Наконец, месть старается достигнуть удовлетворения возможно дешевою ценой, месть действует скрытно, с возможно меньшими пожертвованиями. В поступке Засулич, как бы ни обсуждать его, нельзя не видеть самого беззаветного, но и самого нерасчетливого самопожертвования. Так не жертвуют собой из-за одной узкой, эгоистической мести. Конечно, не чувство доброго расположения к генерал-адъютанту Трепову питала Засулич; конечно, у нее было известного рода недовольство против него, и это недовольство имело место в побуждениях Засулич, но ее месть всего менее интересовалась лицом отомщаемым; ее месть окрашивалась, видоизменялась, осложнялась другими побуждениями.

Вопрос справедливости и легальности наказания Боголюбова казался Засулич не разрешенным, а погребенным навсегда, надо было воскресить его и поставить твердо и громко. Униженное и оскорбленное человеческое достоинство Боголюбова казалось невосстановленным, несмытым, неоправданным, чувство мести – неудовлетворенным. Возможность повторения в будущем случаев позорного наказания над политическими преступниками и арестантами казалась не предупрежденной.

Всем этим необходимостям, казалось Засулич, должно было удовлетворить такое преступление, которое с полной достоверностью можно было бы поставить в связь со случаем наказания Боголюбова и показать, что это преступление явилось как последствие случая 13 июля, как протест против поругания над человеческим достоинством политического преступника. Вступить за идею нравственной чести и достоинства политического осужденного, провозгласить эту идею достаточно громко и призвать к ее признанию и уверению, – вот те побуждения, которые руководили Засулич, и мысль о преступлении, которое было бы поставлено в связь с наказанием Боголюбова, казалось, может дать удовлетворение всем этим побуждениям. Засулич решила искать суда над ее собственным преступлением, чтоб поднять и вызвать обсуждение забытого случая о наказании Боголюбова.

Когда я совершу преступление, думала Засулич, тогда замолкнувший вопрос о наказании Боголюбова восстанет; мое преступление вызовет гласный процесс, и Россия, в лице своих представителей, будет поставлена в необходимость произнести приговор не обо мне одной, а произнести его, по важности случая, в виду Европы, той Европы, которая до сих пор любит называть нас варварским государством, в котором атрибутом правительства служит кнут.

Этими обсуждениями и определились намерения Засулич. Совершенно достоверным поэтому представляется то объяснение Засулич, которое притом же дано было ею при самом первоначальном ее допросе и было затем неизменно поддерживаемо, что для нее было безразлично: будет ли последствием произведенного ею выстрела смерть или только нанесение раны. Прибавлю от себя, что для ее целей было бы одинаково безразлично и то, если б выстрел, очевидно, направленный в известное лицо, и совсем не произвел никакого вредного действия, если б последовала осечка или промах. Не жизнь, не физические страдания генерал-адъютанта Трепова нужны были для Засулич, а появление ее самой на скамье подсудимых, вместе с нею появление вопроса о случае с Боголюбовым.

Было безразлично, совместно существовало намерение убить или ранить; намерению убить не отдавала Засулич никакого особенного

преимущества. В этом направлении она и действовала. Ею не было предпринято ничего для того, чтобы выстрел имел неизбежным следствием смерть. О более опасном направлении выстрела она не заботилась. А, конечно, находясь в том расстоянии от генерал-адъютанта Трепова, в каком она находилась, она, действительно, могла бы выстрелить совершенно в упор и выбрать самое опасное направление. Вынув из кармана револьвер, она направила его так, как пришлось: не выбирая, не рассчитывая, не поднимая даже руки. Она стреляла, правда, в очень близком расстоянии, но иначе она и не могла действовать. Генерал-адъютант Трепов был окружен своею свитою, и выстрел на более далеком расстоянии мог грозить другим, которым Засулич не желала вредить. Стрелять совсем в сторону было совсем дело не подходящее: это сводило бы драму, которая нужна была Засулич, на степень комедии.

На вопрос о том, имела ли Засулич намерение причинить смерть или имела намерение причинить только рану, прокурор остановился с особенной подробностью. Я внимательно выслушал те доводы, которые он высказал, во я согласиться с ними не могу, и они все падают перед соображением о той цели, которую имела В. Засулич. Ведь не отвергают же того, что именно оглашение дела с Боголюбовым было для В. Засулич побудительного причиною преступления. При такой точке зрения мы можем довольно безразлично относиться к тем обстоятельствам, которые обратили внимание господина прокурора, например, что револьвер был выбран из самых опасных. Я не думаю, чтобы тут имела в виду наибольшая опасность; выбирался такой револьвер, какой мог удобнее войти в карман: большой нельзя было бы взять, потому что он высовывался бы из кармана, необходимо было взять револьвер меньшей величины. Как он действовал – более опасно или менее опасно, какие последствия от выстрела могли произойти, – это для Засулич было совершенно безразлично. Мена револьвера произведена была без ведения Засулич. Но если даже и предполагать, как признает возможным предполагать прокурор, что первый револьвер принадлежит В. Засулич, то опять-таки перемена револьвера объясняется очень просто: прежний револьвер был таких размеров, что не мог поместиться в кармане.

Я не могу согласиться и с тем весьма остроумным предположением, что Засулич не стреляла в грудь и в голову генерал-адъютанта Трепова, находясь к нему en face, потому только, что чувствовала некоторое смущение, и что только после того, как несколько оправилась, она нашла в себе достаточно силы, чтобы произвести выстрел. Я думаю, что она просто не стреляла в грудь генерал-адъютанта Трепова потому, что она не заботилась о более опасном выстреле: она стреляет тогда, когда ей уже приходится уходить, когда ждать более нельзя.

Раздался выстрел... Не продолжая более дела, которое совершала, довольствуясь вполне тем, что достигнуто, Засулич сама бросила револьвер, прежде чем успели схватить ее, и, отойдя в сторону, без борьбы и сопротивления отдалась во власть набросившегося на нее майора Курнеева и осталась не задушенной им только благодаря помощи других окружающих. Ее песня была теперь спета, ее мысль исполнена, ее дело совершено.

Я должен остановиться на прочтенном здесь показании генерал-адъютанта Трепова. В этом показании сказано, что после первого выстрела Засулич, как заметил генерал Трепов, хотела произвести второй выстрел, и что началась борьба: у нее отнимали револьвер. Это совершенно ошибочное показание генерал-адъютанта Трепова объясняется тем весьма понятным

взволнованным состоянием, в котором он находился. Все свидетели, хотя также взволнованные происшествием, но не до такой степени, как генерал-адъютант Трепов, показали, что Засулич совершенно добровольно, без всякой борьбы, бросила сама револьвер и не показывала намерения продолжать выстрелы. Если же и представилось, генерал-адъютанту Трепову что-либо похожее на борьбу, то это была та борьба, которую вел с Засулич Курнеев и вели прочие свидетели, которые должны были отрывать Курнеева, вцепившегося в Засулич.

Я думаю, что ввиду двойственности намерения Засулич, ввиду того, что для ее намерений было безразлично последствие большей или меньшей важности, что ею ничего не было предпринято для достижения именно большего результата, что смерть только допускалась, а не была исключительным стремлением В. Засулич, нет оснований произведенный ею выстрел определять покушением на убийство. Ее поступок должен быть определен по тому последствию, которое произведено в связи с тем особым намерением, которое имело в виду это последствие.

Намерение было: или причинить смерть, или нанести рану; не последовало смерти, но нанесена рана. Нет основания в этой нанесенной ране видеть осуществление намерения причинить смерть, уравнивать это нанесение раны покушению на убийство, а вполне было бы справедливо считать не более как действительным нанесением раны и осуществлением намерения нанести такую рану. Таким образом, отбрасывая покушение на убийство как не осуществившееся, следовало бы остановиться на действительно доказанном результате, соответствовавшем особому условному намерению – нанесению раны.

Если Засулич должна понести ответственность за свой поступок, то эта ответственность была бы справедливее за зло, действительно последовавшее, не такое, которое не было предположено как необходимый и исключительный результат, как прямое и безусловное стремление, а только допускалось.

Впрочем, все это – только мое желание представить вам посильную помощь к разрешению предстоящих вам вопросов; для личных же чувств и желаний Засулич безразлично, как бы ни разрешился вопрос о юридическом характере ее действий, для нее безразлично быть похороненной по той или другой статье закона. Когда она переступила порог дома градоначальника с решительным намерением разрешить мучившую ее мысль, она знала и понимала, что она несет в жертву все – свою свободу, остатки своей разбитой жизни, все то немногое, что дала ей на долю мачеха-судьба.

И не торговаться с представителями общественной совести за то или другое уменьшение своей вины явилась она сегодня перед вами, господа присяжные заседатели.

Она была и осталась беззаветною рабой той идеи, во имя которой подняла она кровавое оружие.

Она пришла сложить перед нами все бремя наболевшей души, открыть скорбный лист своей жизни, честно и откровенно изложить все то, что она пережила, передумала, перечувствовала, что двинуло ее на преступление, чего ждала она от него.

Господа присяжные заседатели! Не в первый раз на этой скамье преступлений и тяжелых душевных страданий является перед судом общественной совести женщина по обвинению в кровавом преступлении.

Были здесь женщины, смертью мстившие своим соблазнителям; были женщины, обагрившие руки в крови изменивших им любимых людей или своих более счастливых соперниц. Эти женщины выходили отсюда оправданными. То был суд правый, отклик суда божественного, который взирает не на внешнюю только сторону деяний, но и на внутренний их смысл, на действительную преступность человека. Те женщины, совершая кровавую расправу, боролись и мстили за себя.

В первый раз является здесь женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести, женщина, которая со своим преступлением связала борьбу за идею, во имя того, кто был ей только собратом по несчастью всей ее молодой жизни. Если этот мотив проступка окажется менее тяжелым на весах общественной правды, если для блага общего, для торжества закона, для общественности нужно призвать кару законную, тогда – да совершится ваше карающее правосудие! Не задумывайтесь!

Не много страданий может прибавить ваш приговор для этой надломленной, разбитой жизни. Без упрека, без горькой жалобы, без обиды примет она от вас решение ваше и утешится тем что, может быть, ее страдания, ее жертва предотвратила возможность повторения случая, вызвавшего ее поступок. Как бы мрачно ни смотреть на этот поступок, в самых мотивах его нельзя не видеть честного и благородного порыва.

Да, она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозоренною, и остается только пожелать, чтобы не повторялись причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников.

***Коллегия присяжных оправдала В. И. Засулич, признав ее невиновной в покушении на преднамеренное убийство.

Дело Нотовича

В 1888 году в газете «Новости» была напечатана статья «О чем говорить». Вслед за ней появилась еще серия статей, в которых вскрывались злоупотребления в деятельности Петербургско-Тульского банка. В этих статьях деятельность банка сравнивалась с деятельностью Симбирско-Саратовского банка, дело о котором в свое время рассматривалось в уголовном порядке и главные «деятели» которого оказались на скамье подсудимых.

Членами правления Петербургско-Тульского банка была подана жалоба прокурору С.-Петербургской судебной палаты, в которой предъявлялось к редактору газеты «Новости» Нотовичу обвинение в публичном оскорблении и клевете.

Окружной суд, рассмотрев жалобу, признал Нотовича виновным в инкриминируемых ему преступлениях и осудил его на четыре месяца тюремного заключения и к напечатанию за его счет в 30 газетах судебного приговора.

Приговор был обжалован защитой. При пересмотре приговора он был отменен С.-Петербургской судебной палатой, которая Нотовича оправдала. Приговор вновь был обжалован в Уголовно-кассационный Департамент Сената, который его отменил и направил дело на новое рассмотрение.

Вторично дело слушалось 10 февраля 1893 г. Защищал Нотовича П. А. Александров. Нотовичу вновь был вынесен оправдательный приговор.

* * *

Господа судьи! На страницах Уложения с наказаниях мирно покоится статья закона, редко тревожимая, редко вспоминаемая, ждущая того желанного луча рассвета, когда наступит и для нее естественный час бесшумного погребения. А казалось при ее рождении, еще не особенно отдаленном, что ей предназначена деятельная будущность. Вооруженная мечом, довольно-таки солидного вида, в форме пятисотрублевого штрафа и шестнадцатимесячного тюремного заключения, она призвана была стать на страже между порывами к обличению существующего зла и оскорбляемостью поносителей всякой чести, умиротворять и уравнивать эти два враждующие по своей природе элемента. Я разумею закон о диффамации. Он прост и ясен, тверд и решителен!

Не оглашай в печати, заповедует он, ни о частном, ни о должностном лице, ни об обществе, ни об установлении, никакого такого обстоятельства, которое могло бы повредить их чести, достоинству или доброму имени.

Не все отнималось у печатного станка в его погоне за текущими явлениями современной жизни. Прежде всего и сам закон допускал исключение. Наказание устраняется, если подсудимый посредством письменных доказательств докажет справедливость позорящего обстоятельства, касающегося судебной или общественной деятельности лица, занимающего должность по определению от правительства или по выборам. Правда, конечно, и то, что лица, занимающие должности по определению от правительства или по выборам, если совершают деяния, не соответствующие чести и достоинству, то, в большинстве случаев, не чувствуют склонности вверять следы этих деяний письменам, а тем более – выпускать такие письмена в свободное обращение.

Остается затем розовая область отрадных явлений. Оглашение таких явлений не возбранено; в этой области печать свободна. Хвали – что можно; одобряй где нужно, славословь де выгодно, ликуй когда это предоставлено.

Никто не оспаривал обязательной силы закона о диффамации, никто не дерзнул возбуждать к нему неуважение, и тем не менее, случилось так что жизнь пошла помимо закона. Справедливые общественные требования и необходимость заставили смягчить его безусловные требования, и в этом уклонении жизни от закона оказываются виновными не одно только обывательское самовольство и писательская продерзость; к уклонному направлению приобщили себя и властная рука администратора, и подзаконный взгляд судьи. Справедливые, честные, благонамеренные обличения звучащего зла более и более становились полезными и необходимыми для общественной дезинфекции. Правительству не раз пришлось с выгодой воспользоваться в общественных интересах разоблачениями в печати. Суд силой вещей и требованиями времени побужден был входить в оценку цели обличения, цели, которая, по буквальному смыслу закона, не должна была бы иметь значения для кары. И в конце концов закон о диффамации, в его практическом приложении, остался вполне целесообразным лишь в сфере обличения частной жизни, не имеющей общественного интереса. Общественные и правительственные установления, должностные лица сами увидели, что закон этот недостаточен для реабилитации их оскорбленной чести, остающейся под сомнением и после обвинительного приговора над диффаматорами. Процессы о диффамации стали редки, бесцветны и мало внушительны.

Праздную скамью обвиняемых в диффамации заняли обвиняемые в клевете. Картина выиграла в своей грандиозности и, скажу, в симпатичности. Обвинитель являлся уже не с намордником, готовый набросить его на уста обвиняемого, как только они раскрывались для доказательства справедливости напечатанного. Рыцарски честное преследовалось в этой борьбе равным оружием и с уравновешенными условиями. Оскорбленный отдает себя публичному изобличению, он требует доказательств, оставляя за собой право опровергать их. Но вид иногда прекрасен только сверху. Уравновешенность условий борьбы в процессах о клевете не легко достижима. Обвинители не расположены делиться теми сведениями, которые находятся в их распоряжении и в их архивах. Так было и по настоящему делу. Наглядным доказательством разверстки акций между подставными акционерами могла бы послужить квитанция банка, по которой заложенные там акции Масловского препровождены временно для общего собрания в правление Тульского банка. Обвняемый просил об истребовании такой квитанции, относящейся к общему собранию 1881 года; ему в этом было отказано. Нотсзич просил об истребовании от правления банка производств по содержанию, ремонту и продаже указанных им домов, оставшихся за банком, в подтверждение неправильностей отчетов. Масловский оспаривал право Нотовича на подобное ходатайство, и в ходатайстве было отказано. В своем возражении Масловский заявляет:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.